

**Павлова М.А.**

## **Комментарий – сателлит текста (комментарий прозаического текста)**

По определению Т. Шор, «Комментарий - древнейший универсальный инструмент работы с текстом, известный с античных времен и широко используемый, кроме филологии, в теологии, юриспруденции, философии, истории, т.е. в науках, имеющих многозначные вербальные объекты исследования. Латинское "commentarius" толкуется двояко: как "толкование" или "объяснения" (т.е. объяснительные примечания к тексту) и шире - как рассуждения, пояснения и критика объекта».

Основные особенности научного жанра комментария, как отмечает Ю.М. Лотман, сформулированы в книге С.А. Рейсера «Палеология и текстология нового времени»: «Независимо от того, для какой читательской категории комментарий предназначен, он не представляет собой чего-то автономного от текста, а подчинен ему – он должен помочь читателю понять текст. Комментарий – сателлит текста». Действительно, комментарий рассчитан на параллельное чтение с комментируемым текстом. Комментарий помогает размышлениям читателя, но не заменяет их. Также тип комментария определяется читательским назначением. Так, книга Лотмана адресована учителю-словеснику, а, например, комментарии Щеглова к романам И.Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» и «12 стульев» - «современным читателям, интересующимся эпохой советской России конца 20-х годов», «Пояснения для читателя», составленные О.А. Лекмановым и др. – максимально широкому кругу читателей, интересующихся творчеством Осипа Мандельштама.

«Цель всех пояснений, которые может сделать по поводу художественного произведения любой специалист, - объяснить читателю его смысл и значение» - так формулирует цель комментариев Лотман.

Тексты для комментирования

*Йорик*

Татьяна Толстая

На подоконнике моего детства стояла круглая жестянка пыльного цвета с черной надписью: «Дорсет. Свиная тушенка». Жестянка служила братской могилой для всех одиноких пуговиц. Вот оторвется пуговка от манжеты, укатится под кровать, и – все: шарь – не шарь, тыкай – не тыкай

веником, пропала навеки. Тогда вытрясали на стол содержимое «Дорсета», перебирая его одним пальцем, как гречку, в поисках пары, но, конечно, никогда ничего нужного не находили. Поколебавшись, отпарывали, так уж и быть, и вторую пуговичку, бросали сиротку в общую кучу, и в галантерее покупали полдюжины пуговиц новых, завернутых в вощеную, мутно-чайного цвета бумажку.

За окном ходил трамвай, дребезжало стекло, сотрясался подоконник, и мелкое население «Дорсета» тихо позвякивало, как будто так шла своя маленькая, сварливая жизнь. Помимо пуговиц в жестянке водились старожилы: скажем, набор игл от нгожной машинки «Зингер», на которой так долго никто не шил, что она понемножку стала растворяться в комнатном воздухе, истончаться в собственную тень, да так и пропала, а ведь была красавицей: черная, с упоительно тонкой талией, с четко-золотым сфинксом, напечатанным на плече, с золотым колесом, с черным сыромятным приводным ремешочком, со стальным, опасно-зубчатым провалом куда-то вглубь, в загадочные недра, где, содрогаясь, туда-сюда ходил челнок, непонятно что делавший. Или истлевшая бумажка, на которой, как черные насекомые, сидели крючки и петельки: бумажка умирала, и крючочки падали на дно могилы, тихо звякнув. Или просто металлическое нечто, похожее на зубо-врачебный инструмент, а что это было – никто не знал, потому что зубных врачей у нас в семье не было. Вылавливаешь это холодно-колкое двумя пальцами: папа, а это что? Папа надевает очки на лоб, осторожно берет и вертит: «Трудно сказать... Что-то такое...»

Маленькие трупки вещей, ракушки затонувших островов. И без конца всплывала, проваливалась на дно и снова вылавливалась мутно-костяная пластинка, непригодная ни на что. Естественно, ее, как и все прочее, никто не выбрасывал. Однажды кто-то сказал: «А вот это китовый ус».

Китовый ус! Сразу представился чудо-юдо, рыба-кит, гладко-черная гора в сером, серебристо-медленном море-океане. Посреди кита – фонтан, как в Петродворце, бьет пенной водой на обе стороны. Маленькие внимательные глазки. На морде у чуды-юды – усы, длинные и пушистые, совершеннейший Мопассан. Впрочем, энциклопедический словарь пишет: «Зубы только у т. н. зубастых К. (дельфины, нарвалы, кашалоты, клюворылы), к-рые питаются гл. обр. рыбой; усатые К. (серые К., гладкие К., полосатики) имеют на нёбе роговые образования – «усы», служащие для

отцеживания планктона...» Неправда, не только для отцеживания: еще в 1914 году портниха, шившая модное платье моей бабушке, укоризненно сказала ей, рассеянной и беззаботной: «Сейчас, Наталья Васильевна, без прямой планшетки вращаться нельзя...» Бабушка устыдилась и согласилась на прямую планшечку; портниха набрала кусочков изо рта серого К., а может, гладкого К., а может, полосатика, и вшила в бабушкин корсет, и бабушка благополучно вращалась, нося под грудью или на талии осколки морей, частички нежной серо-розовой пасты, и проходила анфиладами комнат, стройная и маленькая, декадентская.

Афродита с тяжелым узлом темно-золотых волос, шурша шелками и дыша французскими духами и модными норвежскими туманами, и головы поворачивались ей вслед, и сердца бились, и она неосторожно и опасно полюбила, и вышла замуж, и началась война, а потом революция, и она родила папу – в день, когда строчил пулемет из тумана, - и волновалась, и забаррикадировала матовое окно ванной, и бежала на юг, и ела виноград, а потом опять застрочил пулемет, и она снова бежала на последнем пароходе из виноградной, богемной Одессы, и добралась до Марсея, а потом до Парижа, и голодала, и бедствовала, и унижалась, и сама теперь шила богатым, и ползала на коленках вокруг их юбок, зажав во рту булавки, закалывая подолы и подкладки, и отчаялась, и снова бежала на юг – теперь уже Франции, - вообразив, что сама может, умеет не только есть виноград, но и делать вино: надо только топтать его ножками, называется ванданж, и тогда снова все разбогатеют и все станет как раньше – рассеянно, беспечно, беззаботно; но опять позорно, смехотворно разорилась, и в августе 1923 года вернулась в Петроград: подстриженная, в новой, модно-короткой юбке и шляпке грибом, держа подростшего испуганного папу за руку. Можно уже было вращаться без планшетки, на других условиях. Много тут чего вращалось.

Чтобы пересказать жизнь, нужна жизнь. Пропустим это. Потом как-нибудь.

Я собственно, думаю про кита: как он нырял в холодную норвежскую воду, ничего не подозревая, не думая о рыжебородых северных рыбаках; как не берегся, выныривая на серую поверхность моря, воспетого модными писателями: минор модерна, негаснущие желтые закаты в разливах северных вод, светловолосые девушки, сосны, камни, сонаты Грига. Роговые образования на небе, так называемые усы, задуманные как инструмент для отцеживания планктона, ему не понадобились, северные

девушки нашли им лучшее применение. Тонкая талия – пышные волосы – трудная любовь – долгая жизнь – дети, которых волочат за руку по морям и континентам, - вот и войнам конец, делу венец, союзники шлют нам добротную свиную тушенку; мы съели её и сплюнули в освободившуюся тару косточки, зубы и усы. Впрочем, зубы – у клюворылов, а наш, наш собственный, личный, серый и гладкий полосатик, наш бедный Йорик рыбы не ел, рыбаков не обижал, прожил жизнь светлую и короткую, - нет, нет, долгую, долгую жизнь, она длится и посейчас, она будет длиться, пока из жестянки на дребезжащем подоконнике чьи-то неуверенные, задумчивые пальцы будут вылавливать и отпускать, вылавливать и отпускать молчаливые, чудесные черепки времени. Зажать в кулаке частичку Йорика, молочную и прохладную – и сердце молодеет, стучит, и рвется, и кавалер барышню хочет украсть, и вода бьет фонтаном на все стороны моря, и мир вращается, крутится, вертится, хочет украсть, и стоит на трех китах, и срывается с них в головокружительные бездны времени.

## Поцелуй

Вы, может быть, помните сороковые послевоенные годы. Помните барахолки в городах и городишках, лавину «обрубков», «тачек», «костылей» и прочего искалеченного войной люда в шалманах и на улицах. Помните, конечно, голодные 1946, 1947 и 1949-й годы и разного вида нищих, малых и старых, кочующих по стране. Нищих, специализировавшихся по подвижным составам: они ходили по железнодорожным вагонам со своим репертуаром и разного рода обращениями к победившему народу. Был даже, если можно так назвать, особый жанр вагонных песен, в основном жалостливых, вроде «В одном городе жила парочка, он шофёр, а она счетовод, и была у них дочка Аллочка, и пошёл ей тринадцатый год...»

А помните эти деревянные вагоны, густо крашенные масляной краской и на всю жизнь впитавшие её запах и запахи курева, еды и пота? Вагоны, набитые снизу доверху людьми, мешками, корзинами, деревянными чемоданами, с тусклым мигающим светом в купе и проходах, с бесконечными нищими калеками, которые менялись с каждым перегонном. Много их довелось мне увидеть за мою опасную практику скачка, то есть поездного вора...

Жизнь загнала меня в угол, и после побега из детприёмника стал я постепенно, с восьми лет, приобщаться к уголовной цивилизации. Но так как главной целью моей всё-таки было возвращение на родину, в Питер, а из моего далека попасть туда в ту пору можно было только по железной

дороге, — то со временем, к двенадцати годам, я освоил профессию, связанную с поездами, — стал скачком. А поначалу, по молодости лет, был «помоганцем», или, из-за худобы и гибкости, — «резиновым мальчиком», который мог проникнуть в самую малую щель.

Из разного побирающегося люда в памяти моей застрял один необычный бессловесный «обрубок». Расскажу уж по порядку, как полагается.

Поезд мой, если не ошибаюсь, был «Москва-Рига»: (я мечтал попасть в Ригу, потому что шли разговоры, будто там можно устроиться юнгой). Я мирно спал в этот раз — естественно, на последней полке плацкартного вагона, среди мешков и чемоданов, привязавшись ремнем к металлической трубе, чтобы, случаем, меня ночью не сдвинули с полки. Поезд приближался к станции Остров. Позднее осеннее солнце вдруг осветило потолок вагона и заставило меня проснуться. Я проспал, что было совсем нехорошо, а должен был затемно спуститься вниз и незаметно покинуть вагон, спрятавшись в туалете, тамбуре, «собачьем ящике», кочегарке или где-нибудь ещё. Мои старшие напарники наверняка уже оставили свои полки, а я...

Очень осторожно отвязав себя от трубы, из-за корзины посмотрел вниз. Вторые полки, слава богу, спали. Но нижние — женщина и девушка — встали уже, явно готовясь сойти в Острове. Мой взгляд застрял на девчонке, а может быть, уже и девушке молочной спелости и красоты необыкновенной. Так мне показалось. А может быть, виновато солнце, которое светило прямо на неё. Она сидела против окна, спиной ко входу, на чемодане, зачехлённом холстиной с латунными пуговицами от шинели, и ела картошку из капустного листа с огурцом и хлебом. Она была видна мне сверху. Её русые волосы, заплетённые в косички, золотились утренним солнцем. Мне запомнилась очень красивая высокая шея и светящиеся на солнце ушки с маленькими прозрачными серьгами-слезинками. Матушка её, отвернувшись от стола, что-то вынимала или, наоборот, складывала в свою сумку и была этим чрезвычайно занята. Напротив — на боковых полках — ещё спали, закрывшись от солнечного света.

Я уже хотел подлезть под трубу и посмотреть, что делается в соседнем отделении, как вдруг в нашем проеме показалась огромная фигура «обрубка», одетого в военную форму. За подол стираной гимнастёрки безрукого держался совсем маленький пацан-поводырь. Совершенно белый, прямо альбинос. Волосёнки у него были настолько светлые, что поначалу мне показалось, будто он седой. На нём был самопальный бушлатик с неправдоподобно огромными пуговицами, словно с какого-то Гулливера.

Голова солдата-великана была расколота по диагонали, да так страшно и безжалостно, что смотреть на неё было невозможно, а уж я повидал в своей жизни к этому времени! Шрам, если это можно было назвать шрамом, проходил щелью почти от правого виска вниз через всё лицо,

уничтожив нос, то есть соединив рот и нос в одно отверстие с остатками лохматых губ. Сдвинутые, но живые куски мяса — разбитые глазницы, правого глаза не было. Война. Это было воистину лицо войны. Только случайность или Господь Бог и молодость оставили этого парня жить. Более страшного живого человека я никогда не видел. Руки у него были «завязаны». Знаете, в войну некогда было: резали, а кожу натягивали. И вот у него торчали такие «колбаски»-обрубки. На шее болталась дощечка с надписью: «Подайте инвалиду войны». Он был, очевидно, нем, то есть не мог говорить, а лишь мычал: во рту болтались только ошметки языка.

Никто его не видел и не слышал, кроме меня. Он стоял на широко расставленных ногах, чуть подавшись туловищем вперед, напротив не видящей его девчонки и смотрел своим уцелевшим глазом на её замечательно освещённую головку. Вдруг он решительно взмахнул своим правым обрубком, сделал шаг к столу, резко нагнулся со своего висока и лохмотьями губ поцеловал шейку девушки. Она, оглянувшись, вскрикнула страшным, каким-то испуганным криком, будто у неё внутри рвануло. Её затрясло. Матушка, онемев, побледнела и вжалась в угол полки. А из его глазниц вдруг что-то рухнуло. Слеза. Мне показалось, что я слышал звук падающей слезы. Этого не могло быть, поезд шел быстро и шумно, но в голове у меня остался этот звук, мне показалось, что я слышал, как его слеза разбилась о нечистый пол нашего деревянного вагона.

Поводырь-пацан потянул «обрубка» за подол гимнастёрки и оттащил его от трясущейся в ознобе девочки. Воспользовавшись заминкой, незамеченный, я спустился вниз и почти вслед за «обрубком» оказался в тамбуре. Калека-солдат сидел на корточках, привалившись к «собачьему ящику», а пацан, прикурив тоненькую папироску, вставлял ему окурки в лохмотья губ, вынимал после затяжки и снова давал своему огромному брату-калеке затянуться дымом самых дешёвых в ту пору папирос «Ракета».

Поезд прибыл на станцию Остров.

Они вышли: один огромный, другой неправдоподобно маленький, словно кто-то всё это срежиссировал. Сошли в абсолютно разрушенном городе. До этого я не понимал, что такое — «разбитый в пух». В Острове понял. У вокзала не было крыши, а сам вокзал был заполнен «обрубками» — безрукими, безногими, палёными, ослепшими... Эта жуть до сих пор у меня в глазах. Брейгель какой-то, в натуре — и на Руси. Шёл мокрый снег...

*Эдуард Кочергин Ангелова кукла (Рассказы рисовального человека).*

Исторический комментарий:

В одном городе жила парочка,  
Он был шофер, она - счетовод,  
И была у них дочка Аллочка,  
И пошел ей тринадцатый год.

Вот пришла война. Мужа в армию  
Провожала жена на вокзал...  
Распростившись с женой верною,  
Он такие слова ей сказал:

- Ухожу на фронт драться с немцами,  
И тебя, и страну защищать,  
А ты будь моей женой верною  
И старайся почаще писать.

Вот уж год война, и второй война,  
Стала мужа жена забывать:  
С лейтенантами и с майорами  
Поздно вечером стала гулять.

«Здравствуй, папочка, - пишет Аллочка. –  
Мама стала тебя забывать.  
С лейтенантами и с майорами  
Поздно вечером стала гулять»...

«Здравствуй, папочка, - пишет Аллочка. -  
А еще я хочу написать,  
Что вчерашний день мать велела мне  
Дядю Петю отцом называть».

Получив письмо, прочитав его,  
Муж не стал уж собой дорожить.  
И в последний бой пал он смертью,  
И сейчас он в могиле лежит.

Ах вы, женушки, вы неверные,  
Муж на фронте, а вы здесь гулять!  
Война кончится, мужевья придут –  
Что вы будете им отвечать?

Я кончаю петь. Не взыщите вы,  
Что у песни печальный конец.  
Вы еще себе мужа встретите,  
А детям он неродный отец.

## Вещи

Все меньше тех вещей, среди которых  
Я в детстве жил, на свете остается.  
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?  
Где черная вода со дна колодца?  
Где «Остров мертвых» в декадентской раме?  
Где плюшевые красные диваны?  
Где фотографии мужчин с усами?  
Где тростниковые аэропланы?  
Где Надсона чахоточный трехдольник,  
Визитки на красавцах-адвокатах,  
Пахучие калоши «Треугольник»  
И страусова нега плеч покатых?  
Где кудри символистов полупьяных?  
Где рослых футуристов затрапезы?  
Где лозунги на липах и каштанах,  
Бандитов сумасшедшие обрезы?  
Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?  
Одно ушло, другое изменилось,  
И что не отделялось запятою,  
То запятой и смертью отделилось.

Я сделал для грядущего так мало,  
Но только по грядущему тоскую  
И не желаю начинать сначала:  
Быть может, я работал не впустую.

А где у новых спутников порука,  
Что мне принадлежат они по праву?  
Я посягаю на игрушки внука,  
Хлеб правнуков, праправнукову славу.  
А.Тарковский, 1957